



Владимир Николаевич Войнович
Жизнь и необычайные приключения солдата
Ивана Чонкина. Претендент на престол
Серия «Жизнь и необычайные приключения
солдата Ивана Чонкина», книга 2

Текст предоставлен издательством «Эксмо»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=128623

Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Книга 1. Лицо неприкосновенное.

Книга 2. Претендент на престол: Эксмо; Москва; 2007

ISBN 978-5-699-23742-5

Аннотация

Чонкин жил, Чонкин жив, Чонкин будет жить!

Простой солдат Иван Чонкин во время Великой Отечественной попадает в смехотворные ситуации: по незнанию берет в плен милиционеров, отстреливается от своих.

Кто он?

Герой самой смешной политической сатиры советской эпохи. Со временем горечь политического откровения пропала, а вот до слез смешной Чонкин советскую власть пережил!

Впервые – в новой авторской редакции!

Содержание

Часть первая	4
1	4
2	7
3	11
4	20
5	24
6	25
7	27
8	30
9	32
10	35
11	39
12	43
13	48
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Владимир Войнович Претендент на престол

Часть первая От тюрьмы да сумы...

1

*Нач. АХО тюрьмы № 1
т. ТИМОФЕЕВУ С. П.*

*Для помыва з/к Чонкина И.В. прошу Вашего распоряжения о выдаче
мыла хозяйственного – 20 гр.
Ст. надзиратель ПОТАПОВ*

Зав. складом т. КУДЕЯРОВОЙ

*Выдать для помыва з/к Чонкина мыла жидкого 15 гр.
ТИМОФЕЕВ*

*Заведующей баней № 1
Долговского райкоммунхоза
т. ФРУКТ*

*Прошу обеспечить санобработку и помыв з/к Чонкина с выделением
для этой цели воды горяче-холодной не менее 8 (восьми) шайко-объемов.*

Нач. АХО тюрьмы № 1

СПРАВКА

Чонкин И. В. санобработку прошел.

Завбаней С. ФРУКТ

ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В КАМЕРЕ № 1 ТЮРЬМЫ № 1

- 1. Нары простые деревянные – 3 яруса*
 - 2. Табуретка простая деревянная – шт. 1*
 - 3. Судно канализационное деревянное (парашиа) – шт. 1*
- Ст. надзиратель ПОТАПОВ*

*Примечание. Лица, виновные в предумышленной порче, или порче по
неосторожности, или в иных действиях, которые могли бы привести к
порче социалистического имущества, будут нести ответственность по
законам военного времени.*

*Командиру войсковой части
полевая почта № 249814*

Срочно, секретно

4 сентября в селении Красное арестован по обвинению в дезертирстве военнослужащий вашей части рядовой Чонкин И. В. При аресте у обвиняемого изъята винтовка Мосина образца 1891/30 г. и патроны к ней в количестве – шт. 4. Прошу срочно сообщить, когда, при каких обстоятельствах обвиняемый скрылся из части с приложением личной характеристики.

*ВРИО начальника
отдела НКВД
Долговского района
лейтенант ФИЛИППОВ*

*ВРИО начальника
отдела НКВД
Долговского района
лейтенанту ФИЛИППОВУ*

Срочно, секретно, со спецкурьером

В ответ на ваш запрос сообщаю: рядовой Чонкин Иван Васильевич был направлен в селение Красное для несения караульной службы по охране самолета «У-2» 634805321, потерпевшего аварию и совершившего вынужденную посадку вблизи указанного населенного пункта. При себе имел винтовку Мосина образца 1891/30 года и патроны к ней в количестве шт. 20.

В результате вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз часть получила задание спешно перебазироваться в район военных действий. В связи с невозможностью своевременного отзыва рядового Чонкина к месту службы последний зачислен в списки пропавших без вести. Вместе с тем авторитетная комиссия в составе подполковника Опаликова С.П. (председатель), техника-капитана Кудля Ю.И. и старшего моториста сержанта Чебурданидзе А.Г., изучив соответствующую документацию, пришла к заключению, что указанный летательный аппарат подлежит списанию ввиду полной выработки им самолета – и моторесурса (акт заочной технической экспертизы прилагается).

Полностью доверяя органам следствия, командование части просит сообщить окончательное решение по делу Чонкина И.В.

*Командир войсковой части
полевая почта № 249814
п/полковник ПАХОМОВ*

ХАРАКТЕРИСТИКА

Рядовой Чонкин Иван Васильевич, 1919 года рождения, русский, холостой, беспартийный, образование незаконченное начальное, проходил службу в войсковой части № 249814 с ноября 1939 года, исполняя обязанности ездового. Во время прохождения службы отличался

недисциплинированностью, разгильдяйством, халатным отношением к своим служебным обязанностям. За неоднократные нарушения воинской дисциплины и несоблюдение Устава РККА имел 14 взысканий (впоследствии снятых).

Обладая низким образованием и узким кругозором, на занятиях по политической подготовке проявлял пассивность, конспекта не вел, слабо разбирался в вопросах текущей политики и теоретических положениях научного коммунизма.

Общественной работой не занимался.

Политически выдержан, морально устойчив.

Командир в/ч п/п № 249814

п/полковник ПАХОМОВ

Комиссар части

ст. политрук ЯРЦЕВ

Начальнику управления НКВД

по ...ской области

подполковнику тов. ЛУЖИНУ Р.Г.

В ответ на Ваш запрос (исх. № 014/209) сообщая: ордер на арест Чонкина И.В., обвиняемого в дезертирстве, был выписан на основании заявления за подписью «жители д. Красное» бывшим начальником нашего учреждения капитаном Милягой А.П. и санкционирован райпрокурором т. Евпраксеиным П.Т.

Во время ареста обвиняемый при содействии своей сожительницы Беляшовой А. оказал вооруженное сопротивление, в результате которого сержант Свинцов получил тяжелое ранение.

Капитан Миляга, прибывший к месту происшествия позднее, затем бежал и погиб при не выясненных пока обстоятельствах.

В настоящее время преступник захвачен и содержится под стражей в тюрьме № 1 города Долгова. Прошу дальнейших указаний.

Лейтенант ФИЛИППОВ

2

– Давай, вали дальше! – потребовали сверху.

– Дальше-то? – Чонкин задумался.

Вся камера № 1 возбужденно ждала продолжения.

Время было – после отбоя. Чонкин лежал на средних нарах между блатным пареньком Васей Штыкиным по прозвищу Штык и паном Калюжным, пожилым дядькой с вислыми усами.

Чонкин пытался собраться с мыслями, его торопили, сбивали с толку, кричали снизу и сверху: «Ну телись же ты, падло!», словно он был коровой.

– Ну вот, – сказал он, поправляя под собой шинель, – сижу, значит, я с пулеметом в кабинке, Нюрка хвост заворачивает, бутылки летят, а эти кричат «сдавайся!» А как же сдаваться, я ж не могу, я на посту, мне ж не положено. И тут вдруг что-то ка-ак сверканет, и так у меня в голове все поплыло, и сделалось так хорошо, и дальше ничего не помню, лежу как мертвый.

Вся камера притихла, как бы почтив молчанием память Чонкина, а пан Калюжный, лежа на спине, быстро перекрестился и сказал тихо: «Царствие небесное».

– Ну вот, – помолчав, продолжал Чонкин, – очинаюсь это я, значит, в животе бурчит, башка будто чужая, открываю глаза и вижу передо мной...

– Черт, – подсказал кто-то снизу, но на него цыкнули, и он умолк.

– Не черт, – поправил Чонкин, – а генерал.

– Ха-ха, генерал, – засмеялись уже наверху. – А может, маршал?

– Закрой хлебало! – оборвали и этого.

– Закрой, – сказал и Чонкин. – Ну вот. Я и сам сперва не поверил и говорю: «Нюрка, это же генерал». А он мне: «Да, – говорит, – сынок, я и есть, – говорит, – генерал». Ну, я встаю, калган гудит, но, как положено, пилотку поправил, руку к виску... – Чонкин приподнялся на локте и, как бы вытягиваясь перед воображаемым начальством, на всю камеру прорывал: «Товарищ генерал, за время вашего отсутствия никакого присутствия не было». А он... – Чонкин обмяк и усталым, отчасти даже старческим голосом изобразил: «Спасибо, сынок, за службу». И сымает с себя... ну, это...

– Штаны, – подсказали из-под нар.

– Дурак, – оскорбился Чонкин за своего генерала. – Не штаны, а этот... Ну, круглый такой... ну, орден.

Штык на своем месте заерзал, приподнялся, наклонился над Чонкиным.

– Орден? – переспросил недоверчиво.

– Орден, – подтвердил Чонкин.

– Какой?

– Ну, этот... Ну, Красного этого...

– Знамени?

– Ну да. Ну, Знамени.

Штык поднес к носу Чонкина руку со скрюченным указательным пальцем:

– На, разогни.

– Чего это? – ожидая подвоха, Чонкин недоверчиво смотрел на согнутый палец.

– Да разогни же.

– А на кой?

– Разгинай, не бойся.

Пожав плечами, Чонкин разогнул. Он не знал этой нехитрой шутки и не понял, почему все смеются.

– Ну и свистун, – сказал Штык. – Генерал, орден...

– Не веришь? – оскорбился Чонкин. – Да вот же ж она, дырка.

– За гвоздь зацепился, – сказал Штык.

– Штык! – окликнули его снизу. – Отвали, падло, не мешай человеку. Давай, Чонкин, трави, не тушуйся.

– А ну вас! – махнул рукой Чонкин.

Он обиделся, замолчал и, встав на карачки, долго расправлял шинель на узком пространстве между Штыком и паном Калюжным. Его звали, ему обещали больше не перебивать, его упрасивали, он не ломался, он просто молчал, думал. Защищая свой пост, он не знал, что совершает что-то особенное, а теперь по интересу слушателей и даже по их недоверию понял, что совершил что-то особенное и даже по-своему выдающееся, а вот не верят, и некому подтвердить.

Народ в камере был разношерстный. Некий индивидуум, которого звали почему-то Манюней, сказал Чонкину:

– За дезертирство это тебе сразу вышку дадут, расстреляют.

– Манюня! – окликнул его востоковед (в Долговской тюрьме были люди самых диковинных профессий) Соломин. – Перестаньте пугать человека.

– Да я не пугаю, – возразил Манюня. – Я говорю: раз дезертирство, значит, вышка. Это если б он, скажем, в самоволку пошел или, допустим, от эшелона отстал, ну тогда, конечно, можно бы ограничиться штрафной ротой, а когда дезертирство, да еще с сопротивлением властям, тут уж без вышки никак... – Манюня помолчал, подумал. – Ну, вообще-то сейчас расстрел гуманный. Раньше-то было как. Раньше тебя выводят во двор; отделение с винтовками, прокурор, доктор. Приговор читают, глаза завязывают, потом командуют: «Отделение, приготовиться!» Жуть! Теперь все не так. Теперь гуманно. Повели тебя, скажем, в баню, а по дороге – бац в затылок, и все. Охо-хо! – зевнул он. – Поспать, что ли.

Народ еще крутился на нарах, переговариваясь о том о сем, перекидываясь шуточками. Грузин Чейшвили рассказывал, как на воле жил сразу с двумя певицами. Другой голос излагал длинный и скучный анекдот, вся соль которого заключалась в том, что в нем действовали русский, еврей и цыган.

– Когда мне бывает трудно, – сказал бывший профессор марксизма-ленинизма Зиновий Борисович Цинубель, – я всегда читаю Ленина.

– Легче становится? – спросил кто-то.

– Напрасно иронизируете, – отозвался Цинубель. – Когда-нибудь вы поймете, что у Ленина есть ответы на все вопросы.

– А за что сидишь, батя? – спросил Чонкин пана Калюжного.

– А бис його знае. За якийсь процкизм, чи шо, – беспечно ответил Калюжный.

– И давно?

– Та давно. З тридцять четвертого року. Только раньше я сидив за воровство, за мошенничество, за бродяжничество, а теперь ото за процкизм.

– А на волю хочется? – спросил Чонкин.

– На волю? – удивился Калюжный. – Ни. А шо там хорошего?

– Как? – всполошился Чонкин. – Да как же чего хорошего? Ну, там... это... солнышко светит, птички поют.

– А на шо тобі та птичка? Шоб вона тобі на голову какнула?

Чонкин растерялся и не знал, что ответить.

– Ото ж уси кажуть: воля, воля, – развивал свою мысль пан Калюжный, – а разобраться, так вона никому и не нужна. Тут тэбэ утречком разбудылы, несут баланду. Много чи мало, а принесут. А на воли хто тобі принесе? Та никто. В мене жинки немає, а сестра пише письма. Цей пид поезд попав, другий от пьянки вмер, третий утонув, четвертый ше шось... И це ж

только в мирное время. А колы война, то ще хуже. Тут свистить, тут бабахает, та ты шо! У тюрьмы лучше. Тут люды яки сидять – профессура! А на воле шваль одна осталась, ей-бо!

Пан Калюжный еще долго убеждал Чонкина в преимуществах тюремной жизни, вдруг неожиданно смолк на полуслове и захрапел.

Чонкин повернулся на другой бок, лицом к Штыку, подтянул к подбородку колени, накрылся свободной полой шинели, полежал – неудобно. Спина прикрыта, перед открыт, в грудь дует. Лег на спину, попробовал обе полы на себя с двух боков натянуть, опять на все не хватает. Лег на левый бок, спереди шинель на себя завернул, спина мерзнет. А пока вертелся, шинель снизу сбилась в один комок, пришлось опять на карачках ползать, вызывая недовольствие и пана Калюжного и Штыка.

Всегда считал себя Чонкин непритворнейшим существом, а тут, к собственному удивлению, обнаружил, что за время жизни у Нюры разнежился, привык к пуховой подушке, пуховой перине и ватному одеялу. Здесь ему было и тесно, и жестко, и холодно.

Поэты-романтики-орденоносцы немало лирических стихов насочиняли о солдатской шинели, будто на ней замечательно спать, одновременно ею же укрываясь. А еще лучше, если делается это на снегу или в крайнем случае под дождем, то есть чтобы она была непременно и мокрая, и пулями пробитая, и как-нибудь в боях обожженная. Вот тогда-то, мол, спать на ней и ею же укрываться очень уж романтично. Романтично, это, пожалуй, да, но сказать, чтоб очень уж удобно, это, конечно, нет.

Крутился Чонкин, крутился – постепенно как-то устроился, как-то особенно съежился, как-то примирился с жесткой реальностью, осознав, что, как ни плоха шинель для спанья, голые нары – хуже. Приспособился, приладил щеку к завернутому рукаву и заснул в сильно скрюченном положении.

И как только впал в забытье, так сразу, а может быть, даже не совсем сразу, может быть, по прошествии какого-то времени, приснилось ему, что не скрюченный на нарах и завернувшись в шинель он лежит, а на пуховой перине, под ватным одеялом и с Нюрой. Лежит Нюра с ним рядом, пышет жаром, как печка, и пахнет вкусно, как мармелад. И потянулся он томно к Нюре, прижался к ней, положил руку на спину, а потом ниже, а вторая рука уже шарилась на том же уровне, но с другой стороны. И, ухватившись за все, на что рук хватало, воспылал он неодолимым желанием, задышал глубоко и часто, кинулся на Нюру с рычанием и впился в нее, как паук.

Он не понял, почему она сопротивляется, почему отпихивается коленями и руками, ведь не только ему с ней, но и ей с ним было всегда хорошо.

Он пытался сломить ее сопротивление, но она схватила его за горло, он проснулся и увидел перед собою Штыка.

– Опять, сука, педрило попался, – шипел и плевался Штык. – Что вы ко мне, падлы, липнете!

Проснулись, заворочались на нарах другие. Кто-то наверху спросил, что происходит, другой голос лениво ответил:

– Новенький Штыка хотел трахнуть.

– А-а, – отозвался первый голос без удивления: видать, здесь ко всему все привыкли.

Чонкин спросонья тряс головой, пялился на Штыка, не понимая, в чем дело, а когда разобрался, сконфузился.

– Нюрка наснилась, – объяснил он и повернулся на другой бок, чтоб избежать повторения неприятности. Штык тоже спиной к нему повернулся и долго еще чего-то бухтел, пока не заснул, а Чонкин лежал, досадуя, что так неудобно все получилось, но постепенно досада его ослабла, и он снова заснул.

И опять, как ни странно (а впрочем, что уж тут странного?), приснилось ему перина и подушка, приснилось ватное одеяло и Нюра под ним. Помня во сне, что, обнимая Нюру,

получил он в ответ какую-то неприятность, Чонкин на этот раз долго лежал недвижно, но запах Нюриного тела и волны жара, идущие от нее, опять его одурманили, опьянили, он потянулся к ней робко, потом смелее, и она на этот раз не противилась, и она потянулась к нему. И вот тела их коснулись друг друга по всей длине, и вжались друг в друга, и его руки торопливо оглаживали и мяли ее, а ее руки то же самое делали с ним, и хотя показалась она ему какой-то костлявой и жесткой, накинулся он на нее, впился в ее губы своими губами, и она его целовала, и она бурно дышала, и она страстно шептала почему-то по-украински:

– Ты мэнэ хочешь?

– Хочу! Хочу! – жарко выдыхал Чонкин.

Ошалев совершенно, он грыз ее губы, он касался языком ее языка, и единственное, что ему сейчас мешало, что раздражало его, были ее усы.

– Зачем тебе усы? – спросил он недоуменно.

– А шоб тэбэ имы колоты, – смущенно хихикнула Нюра, и он, просыпаясь, увидел совсем близко отвратительное лицо пана Калюжного, который, целуя его в засос, одной рукой прижимал к себе его голову, а другой шарил в том месте, куда Чонкин не допускал еще никого, кроме Нюры.

– Ты что? Ты что? – забормотал Чонкин, отпихивая и убирая блудливую руку Калюжного. – Тронутый, что ль?

– Та тише ты, – испуганно зашептал пан Калюжный. – Хлопцив разбудишь.

– А чего ты лезешь? – сердился Чонкин. – Чего лезешь?

– Тю на тэбэ! – возмутился в свою очередь Калюжный. – Та кому ты нужен. Сам пристае то до одного, то до другого. Тю!

Опять наверху завозились, и кто-то спросил, что происходит. И опять кто-то сказал, что новенький хотел изнасиловать пана Калюжного.

– Так он и до нас скоро доберется, – предположил первый голос, впрочем, совершенно беззлобно.

Чонкин, раздосадованный, спустился вниз и сел посреди камеры на табуретку. На ней, клюя носом и ерзая, просидел до подъема.

3

После завтрака вошел в камеру заспанный вертухай, ткнул пальцем в Чонкина:

– Ты! – и еще в кого-то: – И ты, на выход!

– С вещами? – засуетился тот, второй, маленький тщедушный человек без двух верхних зубов.

– С клещами, – беззлобно сказал вертухай. – Когда с вещами, по фамилии вызывают.

Он привел их в уборную, довольно-таки грандиозное помещение с двумя дюжинами дырок в цементном полу.

– На уборку даю сорок минут, – сказал вертухай. – Ведра, метлы и тряпки в углу.

С этими словами он вышел. Чонкин и его напарник остались стоять друг против друга, работать не спешили.

От резкого запаха хлорки и застоявшейся мочи свербило в носу, слезились глаза и кружилась слегка голова.

Напарник Чонкина, как уже сказано, был маленького роста, может быть, даже меньше Чонкина, хотя и сам Чонкин, как читатель, вероятно, помнит, тоже не великан. Но держался напарник прямо, развернув плечи и выпятив узкую грудь. При маленьком росте у него была крупная голова с выдающейся вперед нижней челюстью и внимательными немигающими глазами.

Когда напарник улыбнулся, это было так неожиданно, что Чонкин даже вздрогнул. Напарник, улыбаясь Чонкину, не спеша засунул руку в карман, казалось, он вынет оттуда пистолет, но вынул он тусклый металлический портсигар, нажал кнопку, крышка отщелкнулась, в портсигаре лежали папиросы «Казбек».

– Прошу! – сказал напарник и протянул портсигар Чонкину.

Смутившись еще больше, Чонкин сунул руку в портсигар, долго ковырялся в нем своими корявыми пальцами, наконец вытащил одну папиросу из-под резинки. Он долго ее разглядывал, как небольшое чудо, – такие папиросы он и на воле видел только издалека.

Закурили. Чонкин зажал папиросу, как сигарку, большим и указательным пальцами, напарник держал по-интеллигентному – между указательным и средним пальцами. С аппетитом затянувшись и пустив дым ровными кольцами, напарник опять улыбнулся Чонкину и сказал:

– Позвольте представиться: Запятаев Игорь Максимович, латинский шпион.

Чонкин посмотрел на него с любопытством, но не сказал ничего.

– Не верите? – усмехнулся шпион. – А я вот вам сразу поверил. Потому что моя история, будучи совершенно реальной, выглядит гораздо фантастичнее вашей. Да-да, не удивляйтесь. Вот вы, например, сколько их уничтожили?

– Их? – переспросил Чонкин. – Кого это?

– Я имею в виду большевиков. Кого же еще? – пояснил Запятаев, несколько раздражаясь.

– Большевиков? – снова не понял Чонкин.

– Слушайте, Чонкин, – возбудился Запятаев, – я же вам не следователь. Зачем вы со мной дурака валяете? Вы вчера рассказывали, как сражались с целым полком. Было это или нет?

– А что ж, я врать буду? – обиделся Чонкин.

– Я и не говорю, что врете. Я верю. Именно поэтому я и спрашиваю: сколько вы их уничтожили?

– Так ведь несколько.

– Вот-вот, – обрадовался шпион. – Как раз к этому я и клоню. У вас были пулемет, винтовка, несколько пистолетов, вы стреляли и не убили ни одного. А почему? – Он смотрел на Чонкина, чуть прищурясь и слегка потряхивая головой, лицом показывая, что ответ ему совершенно ясен, но он хочет услышать его от Чонкина. – Почему?

– Не попал, – сказал Чонкин растерянно. Сейчас ему стало даже неловко, что он оказался таким растяпой.

– Вот видите! – удовлетворенно сказал Запятаев. – Ни одного. Не попали. Ну, а если бы и попали, то сколько могли бы убить? Одного, двух, трех, ну десяток от силы. То есть это в лучшем случае. А вот я... – Он переложил папиросу из правой руки в левую, резко нагнулся и, как фокусник, извлек из штанины какой-то маленький предмет, оказавшийся огрызком химического карандаша.

– Вот, – торжественно сказал Запятаев и потряс огрызком над головой. – Вот оно, современное оружие, которое пострашнее пулемета и пострашнее картечи. Этот предмет я берегу, как священную реликвию. Он достоин того, чтобы быть помещенным в музей на самое видное место. Этим безобидным на вид предметом я вывел из строя и уничтожил полк, дивизию, может быть, даже армию.

Чонкин посмотрел внимательно на огрызок, на тщедушного Запятаева. «Псих какой-то», – подумал он, холодея.

– Теперь вы мне не верите? – улыбнулся понимающе Запятаев.

– Верю, верю, – поспешно сказал Чонкин. Затянувшись последний раз, он затоптал окурок и пошел в угол, где стояли два ведра и несколько метел.

– Нет, вы послушайте, – засуетился Запятаев, хватая его за рукав.

– Опосля. – Чонкин выбрал метлу получше, взял ведро и пошел в другой угол к водопроводному крану.

– Да послушайте же! – побежал за ним Запятаев. – Вам будет интересно.

– Некогда, – сказал Чонкин. – Работать надо.

Набрав воды, он поставил ведро на пол, обмакнул в него метлу и пошел махать ею вдоль стены.

– Ну, как хотите.

Запятаев обиделся, спрятал карандаш и тоже пошел за метлой и ведром.

Некоторое время трудились молча. Чонкин махал метлой и с опаской, но не без любопытства поглядывал на Запятаева. Обладая конкретным воображением, он попытался представить себе вооруженное до зубов воинство и маленького Запятаева, размахивающего своим огрызком.

– Это ж надо, – засмеялся Чонкин. – Карандашом, говорит, дивизию. Ну и сказанул!

– Если бы вы послушали, – сказал Запятаев обиженно, – вы бы согласились, что в этом ничего невероятного нет.

– Ну ладно, валяй, рассказывай, – великодушно согласился Чонкин. Он понял, что хотя Запятаев, может, и псих, но в данных условиях, очевидно, безвредный. Чонкин поставил метлу перед собой, упер ручку в подбородок и приготовился слушать.

Теперь Запятаев заартачился, говоря, что Чонкин сбил настроение. Но все-таки, видно, уж очень хотелось ему кому-нибудь поведать свою историю. Он ждал «вышки» и боялся, что никто никогда не узнает о его героической деятельности.

– Ну так слушайте, – сказал он торжественно. – Вот в двух словах мое начало. Выходец из петербургской дворянской, не очень знатной, но состоятельной семьи. Дом с лакеями, боннами, собственным автомобилем еще перед прошлой войной. Я гимназист, юнкер, подпоручик в армии Врангеля. Когда все бежали, я остался, чтобы продолжать борьбу с советской властью, которую тогда ненавидел даже больше, чем сейчас. Перебрался в Москву, сочинил себе пролетарское прошлое, болтался в разных кругах, искал себе подобных – без-

успешно. Попадалась, правда, разная шантрапа, но это было совсем не то, что я искал. Одни писали заумные стишки, другие курили гашиш, третьи увлекались свальным грехом и спиритизмом. Некоторые тискали на гектографе жалкие прокламации и с парой заржавленных пистолетов готовили военный переворот. Ну и, конечно, рано или поздно все попадали куда? На Лу-бян-ку. И поэты, и спириты, и те, которые с револьверами. Я вовремя понял – от таких надо подальше. Нет, я не сдался, я хотел продолжать борьбу. Но с кем и как? Приглядываюсь, вижу: Советы с каждым годом все крепнут и крепнут. Реальной оппозиции нет, тайная деятельность невозможна. Всеобщая бдительность, все друг на друга доносят, чека каждого видит насквозь. Все ужасно. Для серьезной борьбы нужна организация, нужны единомышленники, но где они? Никому нельзя открыться, никто никому не верит. Я долго думал над происходящим, скажу вам откровенно, я начал впадать в отчаяние. Если никакая борьба невозможна, то для чего же я здесь остался? Чтобы стать таким же, как все, и послушно есть из того же корыта? И тут я сделал открытие, которое без ложной скромности можно назвать каким? Ге-ни-аль-ным! Да, – сказал Запятаев и счастливо засмеялся. – Именно гениальным, на меньшее я не согласен. Вот вы, – он отпрыгнул от Чонкина и ткнул в него пальцем, – скажите мне, что вы считаете основной особенностью нынешней власти? В чем ее достоинства? Какая она?

– Она-то? – Чонкин задумался. – Ну, вообще-то хорошая.

– Остроумно, – улыбнулся Запятаев. – Ну, а если без шуток, я вам скажу по секрету... – Он приблизился к Чонкину и снизил голос до шепота: – Запомните раз и навсегда – основная, главная, замечательная особенность этой власти состоит в том, что она до-вер-чи-ва. Да, именно доверчива, – повторил он громко и опять отскочил. – Вы скажете: ка-ак? – Он вытаращил глаза и раскрыл рот, изображая невероятное удивление Чонкина. – А вот так, дорогой мой Иван... как вас... Васильевич?.. Именно так. Вы скажете, какая там доверчивость, когда она всех во всем подозревает, когда она хватает и уничтожает главных своих идеологов и столпов по мельчайшему подозрению. Вы мне скажете – Троцкий, вы мне скажете – Бухарин с Зиновьевым, вы мне скажете – Якир с Тухачевским. Да, конечно, она подозрительна, она своим не доверяет, но таким, как я, она верит как? Без-гра-нич-но. К сожалению, я сделал это открытие не сразу. Я тогда уже был не в Москве, а здесь, в области. Работал мелким служащим в одном важном учреждении. В таком важном, что даже сейчас боюсь сказать. А руководителем у нас был некий Рудольф Матвеевич Галчинский. Не помните? Ну, был такой известный большевик, герой Гражданской войны, личный друг Ленина. Такой преданный, такой доверенный, что он из-за границы, знаете ли, не вылезал. Добывал какое-то там военное оборудование, какие-то секреты и, если не ошибаюсь, руководил общей подрывной деятельностью, то есть подготавливал мировую революцию. Очень вредный был человек. И вот когда я сделал свое открытие, я его на этом самом Галчинском и испытал. Взял я как-то клочок бумаги, этот вот самый огрызок (он был чуть-чуть побольше), натянул на левую руку перчатку и написал: «Во время пребывания в Англии Галчинский был завербован британской разведкой». И подписал простенько, без затей: «Зоркий Глаз». А? Как вам нравится?

Постепенно Запятаев входил в раж, отбросил метлу, размахивал руками, сам себе задавал вопросы и сам на них отвечал, расчлняя слова на слоги. Смеялся, подмигивал, при этом одна половина лица, как на шарнирах, поднималась вверх, а другая, наоборот, опускалась.

– Но тут... – Запятаев помолчал и покачал головой. – Меня ждало первое испытание. На другой день на работе я подошел по какому-то делу к секретарше нашего начальника, к этой очаровательной жирной свинье Валентине Михайловне Жовтобрюх, и делаю ей походя комплимент: «Валентина Михайловна, какой на вас прекрасный жакет». Сволочь была невероятная, а все-таки женщина. Вся зарделась, краска сквозь жир проступила: «Правда, вам нравится?» – «Прекрасный, – повторяю, – жакет, и очень вам к лицу». А она и вовсе расцвела: «Это мне, – говорит, – Рудольф Матвеевич из-за границы привез». – «Из Англии?» –

спрашиваю. «Нет, из Бельгии. А в Англии он никогда не бывал». – «Как? – сказал я. – А в последний раз?» – «Вот именно в последний раз он был в Бельгии и Голландии. До этого в Германии, во Франции и даже в Канаде, а в Англии никогда. Да что вы так побледнели? Что с вами?»

Вы представляете, что я чувствовал, если даже не смог скрыть своего состояния? Несколько суток после этого я не находил себе места. День проходил еще кое-как в работе, а ночью – сплошные кошмары. Я забирался под одеяло и дрожал, даже не фигурально, а самым обыкновенным образом. Чего только мне не мнилось. Остановилась внизу машина – за мной. Дверь хлопнула – за мной. Я не трус, Иван Васильевич. Но мне было до слез обидно, что вот так глупо, с первого раза... Но вот однажды иду на работу, поднимаюсь по лестнице и глазам своим не верю: два молодца в форме и один в штатском ведут под белы ручки нашего героя, то есть самого Рудольфа Матвеевича, бледного, без очков. Я посторонился... И даже, кажется, поздоровался, но он меня не заметил, а один из молодцов буркнул мне: «Не путайтесь под ногами». Поднимаюсь в приемную, там как после погрома: ящики столов вынуты и стоят на полу, бумаги рассыпаны, а у окна в углу плачет Валентина Михайловна. Я, разумеется, к ней: «Валентина Михайловна, что случилось?» Она платочком глаза промокнула и смотрит на меня строго: «Рудольф Матвеевич оказался британским шпионом. Не могу себе простить, рядом была, а не заметила». Я, конечно, – Запятаев подмигнул радостно, – с удовольствием стал ее успокаивать, мол, не переживайте, ведь еще ничего не доказано, все еще может разъясниться. Ведь Рудольф Матвеевич, кажется, в Англии никогда не бывал. Тут она как завизжит: «Что значит кажется! Что значит не бывал? Вы что же, нашим органам не доверяете?» Мне же пришлось заверить ее, что доверяю. Прошло сколько-то времени, и в газетах – вы, может быть, помните – появилось сообщение о суде над врагом народа Галчинским. Говорилось, что под тяжестью предъявленных улик подсудимый полностью признал, что во время пребывания в Англии он был что? За-вер-бо-ван.

Тут Запятаев замолчал, задумался, и Чонкин, решив, что рассказ окончен, пробормотал что-то вроде того, что, мол, да, бывает, и взялся за метлу, но Запятаев его остановил:

– Нет, вы послушайте, что было дальше. Свалив Галчинского, я ободрился. Я понял, что выбрал правильный путь. Я купил несколько тетрадей в линейку и принялся за работу. Вижу какого-нибудь активного большевика, и тут же сигнал: завербован такой-то разведкой. Вижу, в Красной Армии появился какой-нибудь выдающийся командир – сигнал на него. Вижу, какой-нибудь ученый, какой-нибудь талант новоявленный собирается то ли необыкновенную машину создать, то ли урожай небывалый вырастить – сигнал. Ну, с талантами, знаете ли, справляться проще простого. Если он в науку свою или в искусство свое углубился, он вокруг себя ничего не видит и непременно глупости понаделает. На собрания не ходит, когда предлагают выступить, старается от молчаться, а если уж и скажет что-нибудь, то обязательно невпопад. Уничтожать таланты, Иван Васильевич, самое приятное и безопасное дело. Витает он где-то там в своих эмпиреях, а его вдруг на землю спустят и спрашивают: а что вы, милейший, думаете относительно, скажем, левого уклонизма или правого оппортунизма? А он, видите ли, как раз про это ничего и не думал. Да как же можно об этом не думать? Сейчас, когда обостряются противоречия, когда во всем мире сложная обстановка и капиталисты предпринимают новые атаки. И ведь не сразу, Иван Васильевич, и не всякого человека волокут в кутузку, а еще поиграют с ним, как кошка с мышкой, пусть выйдет, мол, на трибуну, пусть политические свои ошибки признает, а он упирается, он хочет, чтоб его поняли. «Что вы, товарищи, я политикой вовсе не интересуюсь». А ему в ответ головой покачают, да пальчиком погрозят, да подмигнут. «Брось, – говорят, – ты человек, конечно, умный, но зачем же нас-то за идиотов держать? Мы же понимаем, что отход от политики – это тоже политика». А он: «Да что вы, да я...» А иной начнет хорохориться. Как же, я талант, я гений, на мое место ведь кого попало не поставишь. А вот и поставим, а вот и поставим.

То есть не то что даже кого попало, а самого последнего идиота возьмем и поставим. – Тут Запятаев захихикал, затрясся, а когда успокоился, продолжал: – Эх, Иван Васильевич, как вспомню, так плакать хочется, сколько через мои руки людей самых выдающихся прошло. Физики, ботаники, писатели, ваятели, артисты, партийные работники. Элита. Сливки общества. Я две дюжины тетрадей на них извел вот таких, общих. И ведь почти каждый раз без промаха. Нет, вы уж не говорите, доверчивей этой власти на свете нет. И каких только глупостей я не писал, во все верят. Про одного, например, сообщил, что в день открытия бухаринского процесса он вышел из дома с заплаканными глазами. Я же не писал, почему он был заплакан. Может, его жена скалкой побила, а не то чтобы он Бухарину особенно сочувствовал. А его взяли. Про другого очень заслуженного товарища я сообщил, что он в интимной беседе с таким-то отрицательно отзывался о нашем о чем? О кли-ма-те. Пропал и этот. И тот, который его слушал, тоже пропал. А как же! Разве можно о нашем климате отрицательно отзываться? – Запятаев подмигнул, перекосясь, похихикал. – Вот, Иван Васильевич, и судите сами, какое оружие в современных условиях страшнее: пулемет, картечь или этот вот маленький огрызок.

Внезапно появился вертухай и, увидев, что работа не двигается, стал грозить обоим карцером. Но двух «Казбеков» – одного в зубы и другого про запас, за ухо – оказалось достаточно, чтобы смягчить его душу. Он удалился, а Запятаев, угостив Чонкина и сам закурив, продолжал свой рассказ:

– Любой преступник, Иван Васильевич, каким бы он ни был хитрым и ловким, рано или поздно попадает, и подводит его что? Бес-печ-ность. Нет, сначала он, конечно, бывает осторожен и осмотрителен и потому действует безнаказанно. Но как раз безнаказанность постепенно и неизбежно приводит к беспечности. Так было и со мной. Сначала я писал свои так называемые сигналы левой рукой, в перчатке, бросал в почтовые ящики подальше от дома, и всегда в разные, принимал другие меры предосторожности и не попадался. Но со временем становился все беспечнее, все нахальнее. То забуду надеть перчатку, то поленюсь нести в дальний ящик. И, естественно, дело кончилось полным чем? Про-ва-лом. Как-то вечером, возвращаясь с работы домой, иду я по тротуару, вдруг скрип тормозов, кто-то сказал: «Эй, товарищ!» Я оглянулся, и в этот момент какая-то сила оторвала меня от земли, по моему, я сделал даже что-то вроде сальто, а пришел в себя уже на заднем сиденье «эмки» между двумя верзилами в шляпах, надвинутых на глаза. Я, конечно, пытался протестовать: по какому, мол, праву и так далее, но один из них сказал: «Сиди и молчи», – и я замолчал. Короче говоря, привозят меня к серому зданию, въезжаем во двор, выходим, поднимаемся по лестнице и оказываемся в кабинете самого Романа Гавриловича Лужина, главного их начальника. Если вы не знаете, что такое Лужин, я вам скажу: это чудовище. Впрочем, с виду похожее на человека. Сидит за большим столом уродливое существо, ростом с карлика, говорит с кем-то по телефону вполголоса, кажется, даже любезничает, улыбается и острит, но я-то знаю, что этому дяденьке ничего не стоит перестрелять хоть тысячу человек одновременно.

Стою ни жив ни мертв. Существо поговорило по телефону, положило трубку, выбирается из-за стола, подкатывается ко мне на коротких ножках вплотную и разглядывает в упор. Я понимаю – игра окончена, теперь главное – твердость, спокойствие и выдержка. Теперь-то я уж кое-что успел сделать. Но все-таки, знаете, к расплате сколько ни готовься, а когда доходит до нее, то, как бы вам сказать, приятного мало. И вдруг слышу:

– Так вот он, значит, и есть тот самый легендарный Зоркий Глаз? Долго же вы от нас скрывались. Чудовищно долго. (Это его любимое слово – «чудовищно».) И что же, так вот все и действовали в одиночку?

Когда он заговорил, я как-то сразу опомнился, чувствую, что взял себя в руки, и отвечаю с вызовом, дерзко:

– Да, в одиночку.